

ЕВА ЗИМИНА

НЕВЕСТА
ПО ОШИБКЕ ДЛЯ
ДРАКОНА ОГНЯ

Ева Зимина

**Невеста по ошибке
для дракона огня**

«Автор»

2026

Зими́на Е.

Невеста по ошибке для дракона огня / Е. Зими́на — «Автор»,
2026

Огненный дар — это смертный приговор. Так в империи карают всех, кроме одного древнего рода драконов огня. Поэтому Яра, нищая мастерица-эмальерша, всю жизнь прячет своё пламя, выдавая дар за ремесло у горна. Но на отборе невест для огненного лорда древняя реликвия дома — Искрень, что гаснет на лжи и разгорается на правде, — вспыхивает в полную силу. И не на знатных девиц, а на неё, служанку, по ошибке попавшую в строй невест. Теперь у Яры выбор: признать дикий огонь — и взойти на костёр, или сыграть невесту лорда, чьё ремесло — ловить таких, как она. Лорд Эйдан Кальдор холоден как лёд, хотя в нём дремлет драконье пламя. А под крышей его дома кто-то по ночам уводит огневолосях девушек в жар, и след тянется к имени, которое страшно произнести вслух. От ненависти до любви — один шаг. Но между ними её тайна, его рана и старый закон, по которому за их любовь полагается Пепел. Сможет ли лучшая лгунья собственного огня перестать прятаться, когда её единственное оружие — запретное пламя?

© Зими́на Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Искрень	5
Глава 2. Лорд пепла	10
Глава 3. Двенадцать невест	15
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Ева Зими́на

Невеста по ошибке для дракона огня

Глава 1. Искренёнь

Всю свою жизнь я следила за одним: чтобы огонь не выбрал меня при свидетелях.

Это куда труднее, чем кажется. Огонь — он ведь как пёс, которого нельзя кормить с руки при чужих: один раз дашь слабинку, один раз позволишь ему лизнуть тебя в ладонь на людях — и всё, теперь он твой, а ты его, и об этом узнают все. Поэтому я держала свой огонь так, как держат за пазухой нож в незнакомом городе: близко, тихо, и чтобы никто не видел даже рукояти.

В то утро в мастерской при Алом дворе я плавila синюю эмаль для воротника, который завтра наденет настоящая невеста.

Печь гудела ровно, как сытый кот. Я сидела над ней с медной лопаточкой, и стекловидная масса в тигле дышала тем особым светом, который видят только мастера и дураки, — светом, в котором цвет ещё не родился, а только собирается родиться. Синий выходил скверный, мутный, с зеленцой, потому что угля при дворе берегли пуще золота, а без хорошего жара кобальт не раскрывается. Любая эмальерша на моём месте подкинула бы угля. Я подкинула жара иначе.

Я просто захотела, чтобы в тигле стало горячее.

И стало.

Никакого пламени над ладонями, ничего, что увидел бы случайный глаз, — только эмаль вдруг ожила, муть осела, и синий раскрылся такой глубины, что у меня самой защемило в горле. Цвет ночного неба над морем, какого не бывает у бедных. Я выдохнула и убрала руки от печи прежде, чем кто-нибудь вошёл бы и спросил, отчего у тигля без угля жар как в горне.

— Святые угодники, — сказала за спиной Тильза, старшая горничная леди Брисанны. — Где ты взяла такую синь?

— Там же, где все, — ответила я, не оборачиваясь. — В терпении и в дешёвом кобальте.

Это была первая ложь за то утро. Я считала их не из совести — совесть у меня имелаась, но к ремеслу выживания отношения не имела, — а из привычки. Кто живёт с тайной, тот считает свою ложь, как лавочник считает медяки: чтобы потом не запутаться в собственной книге.

Меня зовут Ярина. Дома, в Горловье, меня звали Ярой, и так короче, и так привычнее, и так меньше похоже на имя той, чью мать увели по огненному доносу, когда мне было семь. Я мастерица — эмальерша и стеклодув, и руки у меня в мелких белых шрамах от брызг расплава, как у всякой, кто живёт у огня честно. Нечестную часть моей жизни шрамы не выдают. Их вообще ничего не выдаёт, если я слежу за собой. А я слежу. Шестнадцать лет, с того дня, как соседка указала на мою мать пальцем и получила за это три серебряные монеты и нашу козу, я слежу за собой так, как не следит за собой даже святой за грехом.

Мать я помню урывками. Помню, как она грела мне руки своими — зимой, в нетопленной комнате, без угля, и руки у неё были горячие не по-человечески, и она смеялась и говорила: это у нас семейное, Яра, бабкино, прабабкино, древнее, как горы, только об этом нельзя никому, слышишь, никому. Я слышала. Мне было семь, и я уже умела молчать лучше взрослых. А потом пришли люди в сером, с амулетами на цепочках, и амулеты эти были возле нашей двери, как собаки на луну, и мать вытолкнула меня в окно к соседям и сказала только: беги и забудь. Я не побежала. Я смотрела из-за угла, как её ведут, и как амулет на груди старшего захлёбывался от её близости и сипел, и как мать в последний раз обернулась — не на меня, она не стала меня

выдавать взглядом, она была умнее, — а на наш дом, в котором осталась тёплая зола в печи, последнее, что она согрела.

Её увели в Обитель Пепла. Оттуда не возвращаются. Мне сказали, что её там нет, что таких, как она, не держат, что огонь карается сразу, — но я выросла и узнала, что иногда не карается сразу, иногда огонь слишком дорог, чтобы тратить его на казнь. Об этом я думать себе запрещала. Думать об этом значило надеяться, а надежда — это огонь, который греет тебя, пока не сожжёт.

Алый двор я увидела за три дня до того утра — снизу, с дороги, как видят его все, кто приезжает не родиться, а служить.

Это не Север с его синими башнями и сосульками в локоть, про который у нас рассказывали как про край света. Это юг. Здесь камень тёплый даже ночью, здесь виноград и белая пыль, и здесь над всем стоит замок дома Кальдор — Багряный чертог, червонная громада на чёрной скале, которую закат не красит, потому что она и так цвета заката. Говорят, его стены не остывают никогда. Говорят, в нижних гротах под ним спит огонь, которому полтысячи лет, и драконы Кальдоров — его сторожа. Я не знала, правда ли это. Я знала только одно, и это одно было важнее всех легенд: здесь, при единственном законном пламени империи, я была опаснее всего на свете для самой себя.

Потому что в империи огонь под запретом.

Не у Кальдоров — у них, наоборот, по присяге и по короне. После Великой Гари, полвека назад, когда сгорела целая провинция и небо над ней год было цвета сажи, корона запретила огненный дар всем простым людям. Незарегистрированный огонь — это Обитель Пепла, пожизненно, без суда дольше, чем нужно писарю, чтобы обмакнуть перо. А вот древний драконий род огня истребить не смогли — драконов вообще не так-то просто истребить, — и тогда корона сделала умнее: связала Кальдоров присягой и оставила их единственным дозволенным пламенем. Живой вывеской. Смотрите, мол, добрые люди: огонь можно укротить, вот он, ручной, при дворе, под присягой. А у вас — нельзя. У вас за искру — Пепел.

Тот же огонь. В лорде — честь. В девке у печи — приговор.

Я думала об этом всякий раз, когда грела эмаль не углём, а собой. Думала и грела. Потому что синий выходил божественный, а голодать я не любила, и в этом была вся моя нехитрая философия: пусть мир несправедлив, но эмаль-то ни в чём не виновата, и пусть хоть она будет красивой.

В Алый двор меня привезла леди Брисанна Воль, и привезла не от доброты, а потому, что я лучшая на сто вёрст и беру втрое дешевле столичных. Леди Брисанна ехала на отбор. Я ехала чинить ей огонь — на нарядах: эмалевые застёжки, стеклярус, золочёные искры по корсажу, чтобы при свечах она вспыхивала, как сама не умела вспыхивать от природы. У неё было лицо красивой рыбы — холодное, гладкое, с круглыми немигающими глазами, и приданое, способное согреть это лицо в глазах любого жениха.

— Запомни, — сказала она мне ещё в карете, не глядя в мою сторону, как говорят с мебелью. — Ты при мне. Ты тень при мне. Тени не разговаривают, тени не поднимают глаз и тени не вспыхивают ярче госпожи. Если кто спросит — ты из моих, из Воль, из Горловья. Поняла?

— Поняла, госпожа, — сказала я. Вторая ложь была короче первой, потому что я и впрямь поняла. Я слишком хорошо понимала таких, как она. Леди Брисанна боялась. Боялась одиннадцати соперниц, боялась Искреня, боялась, что её приданое окажется недостаточно горячим. Страх делал её жестокой, как делает жестокими всех, кто привык бояться красиво.

А я не боялась её совсем. Я боялась только одного — себя. И с этим страхом я прожила шестнадцать лет и собиралась прожить ещё столько же, тихо, у чужих печей, делая чужие наряды красивыми.

Так я думала до полудня того дня, когда нас всех позвали к Искреню.

Об Искрене я, конечно, слышала — про него слышали даже в Горловье, у нас им пугали врущих детей. Уголь Первого пламени, реликвия Кальдоров. Кусок жара, который дом хранит с тех времён, когда драконы ещё не присягали никому. Говорят, он гаснет, когда при нём лгут, и разгорается, когда говорят правду. Говорят, на смотринах невест его выносят, чтобы проверить — не лезет ли в дом ложь. Я думала, это сказка для двора, такая же, как наша горловская про печь, которая не печёт хлеб лжеца.

Я ошибалась. Это была не сказка. И в этом-то и была вся беда.

Смотрины устроили в Зеркальном зале — он назывался зеркальным не от зеркал, а от пола, чёрного, отполированного так, что в нём отражался потолок, и казалось, что под ногами тоже зал, перевёрнутый, и можно упасть в него вниз головой. По стенам стояла стража в червонных плащах. На хорах, выше, толпились придворные — отбор был зрелищем, и зрелище собирало зрителей. В дальнем конце на возвышении стояло резное кресло, пустое, и рядом, на треножнике из чёрного железа, чаша.

В чаше лежал уголь.

Он не горел. Он просто лежал — серый, мёртвый с виду камень величиной с кулак, в тонкой сетке белого пепла. И от него тянуло жаром так, что женщины в первом ряду отступили на полшага. Я стояла в дальнем углу, где положено тени, за плечом леди Брисанны, и даже оттуда чувствовала его — не кожей, а тем, чем чувствую огонь я. Он был жив. Он спал, но он был жив, и он был старый, старше всех в этом зале, и мне отчаянно, до зуда в ладонях захотелось подойти ближе. Так тянет к воде того, кто три дня шёл по солончаку.

Я сцепила руки за спиной и велела себе стоять.

Рядом с креслом стоял ещё один человек — немолодой, грузный, в багряном бархате, с лицом приветливым и круглым, как полная луна, и с цепью распорядителя на груди. Он улыбался залу, и улыбка у него была хорошая, отеческая, и я сразу ей не поверила, потому что у людей с такими улыбками всегда что-то спрятано в рукаве. Позже я узнаю, что его зовут лорд Венсан Кальдор, что он дядя жениха и регент дома, и что он устроил весь этот отбор. Позже я узнаю про него много чего. Но в тот миг я просто отметила улыбку и отвела глаза, как отводят от слишком яркого света.

— Девы дома и гости дома, — заговорил он, и голос у него был под стать улыбке, медовый. — Дом Кальдор по воле короны открывает отбор невесты для своего господина. Прежде чем имена войдут в свиток, каждая предстанет перед Искренем. Так велось всегда. Лжи в этот дом не входить.

Он сделал знак. Двери в торце зала отворились, и вошёл тот, ради кого всё это затевалось.

Я ждала чего угодно, но не этого.

Я ждала жара. Огненный лорд, дракон, единственное законное пламя — я ждала кого-то громкого, как пожар, кого-то, у кого глаза цвета углей и поступь, от которой плавятся полы. А вошёл человек, от которого тянуло холодом.

Высокий, в чёрном с червонной нитью по вороту, тёмные волосы, лицо словно отлитое в форму, а потом остуженное в воде, — ни одной лишней чёрточки, ни одного лишнего движения. Он шёл через зал так, будто зал ему не нравился, и люди в нём не нравились, и сама необходимость идти не нравилась тоже. Он не смотрел на невест. Он смотрел в одну точку перед собой, как смотрят, когда терпят. И холод от него шёл такой настоящий, такой выученный, что я не сразу поверила: это огненный дракон. Это лорд Эйдан Кальдор. Это он спит над тем огнём, которому полтысячи лет.

Дракон, который притворяется льдом. Я узнала это с одного взгляда, потому что сама всю жизнь притворялась золой. Это узнаёшь без слов — своего по ремеслу. Он держал свой огонь так же, как я держала свой: близко, тихо, и чтобы никто не видел даже рукояти. Только мне за это грозила Обитель Пепла, а ему — корона на голову. Тот же огонь. Я уже говорила.

Он сел в резное кресло, не глядя на чашу, и распорядитель — лорд Венсан — развернул свиток.

— Леди Аделия Корн.

Первая невеста подошла к чаше. Красивая, рыжая, с дрожащими руками. Венсан велел ей назвать имя и сказать одну правду о себе вслух — для Искреня. Она сказала, что её сердце свободно. Уголь в чаше дрогнул и налился по краю тусклым багровым, как уголёк, который раздули и снова отпустили. Жив. Зал выдохнул. Лорд Эйдан не шевельнулся, будто всё это происходило не с ним, а где-то за стеной.

Я смотрела на уголь, и у меня внутри всё медленно холодело — что для меня означало, что всё внутри медленно раскалялось, потому что у меня всё наоборот. Этот уголь не сказка. Он чует огонь. Он не просто детектор лжи — он живое пламя, древнее и голодное, и оно сейчас в одном зале со мной, спящей золой, которая всю жизнь притворяется, что в ней нет ни искры. Уйти бы. Но тени не уходят с середины смотрин, тени стоят, пока стоит госпожа.

Подходили одна за другой. Багровый по краю — жив, правда. У одной уголь притух было совсем, когда она сказала, что не помышляет о чужом женихе, и Венсан повёл бровью, мягко, сочувственно, и леди залилась краской, и её отвели в сторону. Лжи в этот дом не входить. Я следила за углём, как следят за зверем в клетке: вот он дышит ровно, вот ровно, вот ровно. Дойдёт до Брисанны, дрогнет багровым, и всё кончится, и можно будет уйти, и я снова стану золой, и завтра доделаю синий воротник.

— Леди Брисанна Воль.

Моя госпожа пошла к чаше, прямая, как свеча. И я, тень за её плечом, шагнула за ней — на два шага, как положено тени, чтобы поправить шлейф, который цеплялся за чёрный пол.

И тут уголь проснулся.

Не дрогнул. Не налился по краю. Он вспыхнул — весь, разом, ослепительным золотом, выбросив язык пламени в локоть высотой, так что треножник зазвенел, и жар ударил в лицо первому ряду, и кто-то вскрикнул. Зеркальный пол под ним полыхнул отражённым золотом, и на миг показалось, что горят оба зала — верхний и нижний, и мы все стоим между двух огней, в самой сердцевине пожара, который не обжигает.

Я застыла. Леди Брисанна застыла. Весь зал застыл.

А потом я поняла самое страшное.

Уголь горел не на леди Брисанну. Она была между ним и мной, но пламя тянулось не к ней — оно тянулось мимо неё, через её плечо, ко мне, как тянется огонь к сквозняку, как тянется живое к живому. Я почувствовала это всем телом — узнавание, оклик, чужой огонь, который нашёл мой и обрадовался, как радуется одичавший пёс, узнавший хозяина через годы. И мой огонь внутри, тот, что я держала шестнадцать лет за пазухой, дёрнулся ему навстречу прежде, чем я успела его удержать. На одно мгновение — на одно проклятое мгновение — я перестала быть золой.

И это мгновение увидели все.

На хорах поднялся шум — тот особый придворный шум, в котором ни одного крика, но каждый шепоток режет, как стекло. Леди Брисанна отшатнулась от меня, будто я вспыхнула под её рукой, и в её рыбьих глазах я прочла всё разом: ужас, оскорбление и быстрый расчёт, как бы при этом не запачкаться самой. «Я её не знаю, — сказали эти глаза. — Никогда не знала». Тильза, старшая горничная, прижала ладонь ко рту. А уголь всё горел, не утихая, золотой столб в человеческий рост, и тянулся ко мне через весь зал, и я стояла в его свете одна, как стоят на площади те, кого сейчас назовут.

Я успела подумать о матери. О том, что вот так же, наверное, выла собака-амулет у нашей двери — без слов, без обвинения, просто узнала чужой огонь и не смогла смолчать. Шестнадцать лет осторожности. Шестнадцать лет золы. И всё это сожрал один кусок угля за один

удар сердца, потому что я сделала единственное, чего себе не позволяла, — подошла слишком близко к чужому пламени.

— Кто это, — сказал лорд Эйдан Кальдор.

Он встал. Впервые за всё смотрины он смотрел не в точку перед собой. Он смотрел на меня, и холод в его глазах треснул, и под трещиной было что-то, чего я не успела прочесть, — то ли ярость, то ли голод, то ли страх, такой же старый, как мой. Он смотрел на меня так, как смотрит человек, услышавший за стеной собственный голос.

Лорд Венсан лихорадочно водил пальцем по свитку, и медовая улыбка сползла с его лица, обнажив под собой быстрый, цепкий, считающий взгляд — тот самый, что я заметила раньше и которому не поверила.

— Это... в свитке её нет, господин. Это, должно быть, прислуга при леди Воль, мастерица, она не...

— Имя, — сказал лорд, не отрывая от меня глаз.

И я, у которой за плечами было шестнадцать лет безупречной лжи, у которой на каждый случай был готов ответ, тень, увёртка, кротко опущенный взгляд, — я открыла рот, чтобы солгать, как лгала всегда, чтобы стать никем, мебелью, золой, чтобы погасить этот проклятый уголь именем чужой служанки.

А уголь Первого пламени горел на меня в полную силу и ждал, какую правду я скажу. Я чувствовала его всей кожей: соври — и он погаснет на твоей лжи у всех на глазах, и это будет хуже, чем правда. Соври — и он, может статься, рванётся ещё сильнее, спорить с тобой, и тогда уже точно конец. Впервые в жизни ложь была опаснее правды, и впервые в жизни мне нечем было прикрыться.

И я поняла, что в этом зале, перед этим углём, я могу сказать только одно.

— Ярина, — сказала я. — Мастерица. И, кажется, я только что всё себе сожгла.

В зале стало тихо так, что слышно было, как потрескивает уголь. Лорд Эйдан спустился с возвышения — медленно, не сводя с меня глаз, и холод шёл от него волной, и я понимала, чего этот холод стоит ему сейчас, когда его собственная реликвия рвётся ко мне через весь зал и выдаёт нас обоих. Он остановился в трёх шагах. Вблизи его глаза были вовсе не ледяные — тёмно-янтарные, как остывший расплав, и в самой их глубине, на самом дне, тлело то, что он гасил в себе так же давно и так же отчаянно, как я.

— Мастерица, — повторил он негромко, только для меня, и в этом одном слове было больше угрозы, чем во всей страже по стенам. — Знаешь, что бывает с теми, на кого загорается Искрень?

— Думаю, сейчас узнаю, — сказала я. — Но если вы ждёте, что я упаду в обморок, то зря. Я мастер. Я просто пришла починить воротник.

Что-то дрогнуло в углу его рта — не улыбка, нет, до улыбки этому человеку было как мне до короны, — но что-то живое, против его воли. А потом он отвернулся к дяде, и голос его снова стал камнем.

— Уведите её. Отдельно. И никому ни слова, пока я не разберусь, что это было.

Стража двинулась ко мне. Уголь Первого пламени горел мне в спину всю дорогу до дверей — горел и не гас, словно прощался, словно говорил: я тебя нашёл, теперь не спрячешься. И самым страшным было даже не это.

Самым страшным было, что внутри меня, впервые за шестнадцать лет, что-то ответило ему: наконец-то.

Глава 2. Лорд пепла

Меня заперли в комнате, где пахло пылью и розовым маслом, и оставили наедине с двумя вещами, которых я боялась больше стражи: с тишиной и с собственными мыслями.

Комната была хорошая. Я успела это отметить машинально, как мастер отмечает чужую работу даже на пути к плахе: резной потолок, окно в частом переплёте, узкая кровать под червонным покрывалом. Не темница. Гостевая. Это сбивало с толку. Если бы меня бросили в подвал на солому, я бы знала, чего ждать. А гостевая означала, что со мной ещё не решили, что делать, и неопределённость пугала сильнее соломы.

Я подошла к окну. Решётки не было, но окно выходило на отвесную скалу, под которой далеко-далеко белела дорога, та самая, по которой я три дня назад въехала сюда тенью при госпоже. Бежать было некуда. Огненный дар не учит летать — он учит гореть, а это, как вы понимаете, не одно и то же.

Я села на край кровати и стала считать.

Я всегда считаю, когда страшно. Не овец — у меня нет на овец воображения. Я считаю то, что у меня отнимут, и то, что мне оставят, как купец перед разорением. Отнимут: имя, ремесло, свободу, голову. Оставят: ничего. Графа «оставят» в моей жизни всегда была короткой.

Я знала эту графу наизусть. После матери меня взяла к себе мастерская старого Гожа — не из жалости, у Гожа жалости было как угля при дворе, — а потому, что у семилетней девочки оказались на диво ровные руки и странное чутьё на жар. Гож научил меня ремеслу и одной важной вещи: бедняку нельзя быть особенным даром, бедняку можно быть особенным только трудом. «Если печь любит тебя больше, чем других, — говорил он, тыча мне в нос обожжённым пальцем, — пусть это останется между тобой и печью. Печь не доносит». Печь и вправду не доносила. Доносили люди. Гож умер, когда мне было пятнадцать, и перед смертью отдал мне свои инструменты и свой длинный язык, которым я с тех пор и отбивалась от мира, потому что у того, у кого отняли всё, остаётся хотя бы право на дерзость.

Так что считать я умела. И, сидя на чужой кровати под червонным покрывалом, я насчитала, что жить мне осталось часов до заката, а потом перестала считать, потому что от счёта легче не становилось.

Но кое-что не сходилось, и это кое-что я тоже считала.

Меня не убили на месте. На незарегистрированный огонь по закону не нужно ни суда, ни дознания — достаточно свидетеля, а тут свидетелей был полный зал, и Искрень полыхал на меня так, что слепой бы понял. Меня должны были взять под белые руки и свести вниз, в Обитель Пепла, к моей матери, если она ещё там, если она вообще ещё где-то. А вместо этого — гостевая, розовое масло и «никому ни слова, пока я не разберусь».

Лорд Эйдан Кальдор не хотел, чтобы об этом знали.

Огненный лорд, страж закона о даре, человек, чьё ремесло — ловить таких, как я, не хотел, чтобы кто-то узнал, что Искрень загорелся на простолюдинку. Я вертела это так и эдак, и каждый раз выходило одно: ему это невыгодно. Самый верный способ доказать короне, что дом ручной, — публично спалить чужой огонь, найденный под собственной крышей. Он этого не сделал. Почему?

Я не успела додумать. Дверь отворилась без стука — так входят к тем, кто уже не человек, а дело, — и вошёл он.

Один. Без стражи. Это я тоже отметила.

В тесной комнате его холод чувствовался иначе, чем в зале, — гуще, ближе, как стена, к которой нечаянно прислонился спиной зимой. Он закрыл за собой дверь, и мы остались

вдвоём: дракон, который ловит огонь, и девка, которая его прячет. Смешнее пары не придумаешь.

— Встань, — сказал он.

— Я насиделась в каретах за три дня, — ответила я, не вставая. — Если вы пришли меня казнить, можно я сделаю это сидя? Ноги гудят.

Он молчал. Смотрел на меня тем своим янтарным взглядом, в котором холод был сверху, а на дне тлею. Я выдержала. Я умею выдерживать взгляды — это часть ремесла золы, нужно уметь смотреть в лицо тому, кто решает твою судьбу, и не моргнуть, иначе он почует страх и страх его раззадорит.

— В тебе огонь, — сказал он наконец. Не вопрос. Утверждение, ровное, как приговор. — Незарегистрированный. Дикий. Я почувствовал его через весь зал. Искрень почувствовал его раньше меня.

— Искрень — старая железка с дурным характером, — сказала я. — Может, ему просто понравился мой кобальт.

— Не лги мне. — Он шагнул ближе, и воздух между нами загустел. — Я полжизни ловлю таких, как ты. Я знаю запах спрятанного огня лучше, чем запах собственного дома. Ты горишь так тихо, что почти не слышно. Почти. Где ты этому научилась?

И тут я допустила первую настоящую ошибку. Не ложь — правду. Усталую, злую правду, которая выскользнула прежде, чем я её посчитала.

— У матери, — сказала я. — Перед тем как её увели в Обитель Пепла. Она научила меня прятать раньше, чем читать. Хорошая школа, господин. Выпускников мало, но какие живучие.

Я ждала, что он ударит словом — у таких, как он, слова бьют не хуже плети. Но он вместо этого отошёл к окну, к тому самому, за которым была отвесная скала, и встал спиной ко мне, и я увидела, как напряжены его плечи под чёрным сукном. Дракон, который держит огонь на коротком поводке, — это видно по спине. Я ведь и сама так стою.

— Покажи руки, — сказал он, не оборачиваясь.

— Зачем?

— Покажи руки, мастерица.

Я протянула ладони к его спине, хоть он и не видел. Он обернулся, шагнул, взял мою правую руку в свою — и я едва не отдернула, потому что его рука была не холодной, как я ждала от человека-льда, а тёплой, ровно, надёжно тёплой, как нагретый солнцем камень. Огонь под спудом. Свой узнаёт своего и через перчатку лжи. Он повернул мою ладонь к свету и провёл большим пальцем по белым крапинам шрамов от расплава.

— Это от ремесла, — сказал он. — А это? — Палец остановился на внутренней стороне запястья, где кожа была чище и глаже, чем должна быть у эмалирши. — Здесь ты не обожглась ни разу. Здесь ты держала огонь голой рукой и не дала ему укусить. Так умеют только те, в ком он живёт. Подмастерье у горна весь в ожогах. Огненный — чист.

Я забрала руку. Сердце колотилось, и я злилась на него за это — на сердце, не на лорда.

— А вы наблюдательны для человека, который притворяется ледышкой, — сказала я. — Покажите-ка теперь ваши, господин. Спорим, на ваших запястьях тоже ни ожога? Дракон, что учится не вспыхивать, — он ведь тоже всю жизнь держит огонь голой рукой. Я угадала?

Он не показал рук. Он сжал их в кулаки — едва заметно, но я заметила, я всё про огонь замечаю, — и в этом было больше ответа, чем в любом слове. Угадала. Мы были из одного теста, замешанного на одном страхе, только его тесто короне понадобилось в дело, а моё — в Пепел.

Что-то прошло по его лицу. Быстро, как тень птицы по стене. Он не ждал этого — не дерзости, дерзость он, верно, ел на завтрак, — а вот матери в Обители Пепла он не ждал. На миг холод дрогнул, и под ним что-то отозвалось, и я, мастерица читать огонь, увидела: у него тоже. У него тоже кого-то увели. Я не знала кого. Но я узнала это движение, потому что сама

его делала тысячу раз — когда при мне говорили «Обитель Пепла», и нужно было не дрогнуть лицом.

— Кто ещё знает, — спросил он, и голос стал тише, опаснее.

— Теперь — полный зал придворных, — сказала я. — Вы плохо выбрали место для разоблачения, господин. Я бы на вашем месте устроила это в погребке.

— Зал видел, что Искрень загорелся, — сказал он. — Зал не видел, что он загорелся на огонь. Они думают другое.

— И что же они думают?

Он помолчал. И когда заговорил, я поняла, что вляпалась куда глубже, чем в обычную смертную беду.

— Искрень загорается на невесту, — сказал он. — Так было всегда. На ту, что войдёт в дом по-настоящему. На истинную. За пятьсот лет он не ошибся ни разу. Зал видел, как реликвия дома Кальдор выбрала невесту посреди смотрин, через голову двенадцати знатных дев, и эта невеста — ты.

Я засмеялась. Не от веселья — от того, что иначе бы закричала.

— Прекрасно, — сказала я. — То есть у меня выбор: я либо незаконный огонь, и тогда меня сожгут, либо ваша истинная невеста, и тогда меня... что? Тоже сожгут, только медленнее и в платье?

— Истинную невесту Кальдора нельзя осудить за огонь, — сказал он, и я наконец поняла, к чему он ведёт, и у меня по спине пробежал холодок, мой собственный, не его. — Выбор Искреня старше закона о даре. Старше короны. Пока ты в свитке невест, ни один дознаватель не тронет тебя — потому что тронуть тебя значит оспорить реликвию, а оспорить реликвию значит сказать, что дом Кальдор лжёт. На это не пойдёт даже император.

— А вне свитка?

— А вне свитка ты — простолюдинка с диким огнём, на которую при сотне свидетелей загорелся Искрень. — Он смотрел на меня без жалости, просто называя вещи. — Тебя возьмут к ночи. И меня вместе с тобой спросят, отчего я укрыл огонь под своей крышей.

Вот оно. Вот почему гостевая, а не подвал. Не милосердие. Расчёт. Я была теперь не его добычей, а его капканом — таким, в который он попал вместе со мной. Искрень связал нас одной верёвкой на глазах у всего двора, и теперь спасти меня значило спасти себя, а выдать меня значило выдать себя. Мы стояли спина к спине над одной пропастью, ненавидя друг друга, и оба это понимали.

— Значит, я остаюсь в отборе, — медленно сказала я. — Простая девка играет знатную невесту перед двором, который сожрёт меня в первый же день, если учует подмену. И всё это — чтобы спасти вашу драгоценную шкуру.

— Чтобы спасти обе наши шкуры, — поправил он. — Свою ты, кажется, ценишь меньше моего.

— Свою я ценю ровно настолько, насколько её ценили другие, — сказала я. — То есть в три серебряные монеты и козу. Такая была цена за мою мать.

Он замолчал. И в этом молчании я впервые почувствовала не лорда, не дракона, не стража закона, а человека — усталого, загнанного в угол собственным домом не меньше, чем я загнана в свой. Двое в розовой комнате, у каждого огонь за пазухой и удавка на шее. Что за пара.

— У меня условие, — сказала я, потому что золе тоже иногда дают торговаться, если зола нужна.

— У тебя нет права на условия.

— У меня есть единственное, чего у вас нет, — спокойствие, — сказала я. — Вы сейчас злитесь так, что у вас иней по краю воротника пошёл бы, будь вы северянином. А я уже всё потеряла шестнадцать лет назад, мне терять нечего, и оттого я думаю яснее вас. Так что слу-

шайте моё условие, лорд Кальдор. Я подыграю вашему Искреню. Я буду вашей невестой по ошибке столько, сколько нужно, чтобы с меня сняли петлю. Но взамен вы скажете мне правду об одной вещи.

— О какой.

— Жива ли ещё хоть одна из тех, кого увели в Обитель Пепла за огонь, — сказала я, и голос у меня всё-таки сел, потому что это был тот самый вопрос, который я запрещала себе шестнадцать лет. — Вы страж закона о даре. Вы знаете, что там, внизу, правда. Скажете мне. Не сейчас — когда я заслужу. Это моя цена.

Он смотрел на меня долго. И в его молчании я прочла больше, чем хотела бы: он знал ответ. Он знал, и ответ был не «нет», и не «да», а что-то третье, хуже обоих, что-то, от чего у этого ледяного человека темнело на дне глаз.

— Ты не понимаешь, о чём просишь, — сказал он тихо.

— Я никогда не понимаю, о чём прошу, — сказала я. — Но всегда плачу. Так договорились?

В дверь постучали — мягко, по-отечески, и не дожидаясь ответа, она отворилась. На пороге стоял лорд Венсан, дядя, регент, распорядитель отбора, и круглое лунное лицо его снова улыбалось так хорошо, что я опять ему не поверила.

— Племянник, — сказал он сладко. — Весь двор гудит. Реликвия выбрала невесту — и какую загадочную! — Он повернул ко мне эту свою улыбку, и я почувствовала, как его взгляд проходит по мне всей — не как по женщине, а как по товару, прикидывая вес и пробу. — Дитя моё, ты, должно быть, в смятении. Но не бойся. Дом Кальдор не выбрасывает то, на что указал Искрень. Напротив. Мы будем беречь тебя как зеницу ока.

— Благодарю, господин, — сказала я, опутив глаза, как положено тени, потому что тень во мне ещё не умерла и подсказывала: при этом человеке гляди в пол, при этом человеке не сверкай. — Я недостойна такой милости.

— О, достойна, достойна. — Венсан подошёл ближе, и от него пахло сладким — померанцем и ещё чем-то под померанцем, металлическим, что я не сразу узнала, а когда узнала, у меня похолодело внутри: так пахнет в лавке, где плавят и пробуют металл. Так пахнет проба. — Реликвия не ошибается, девочка. Если Искрень выбрал тебя, значит, в тебе есть что-то редкое. Очень редкое. А всё редкое имеет цену, и моя забота — чтобы эта цена не пропала зря.

Он улыбнулся племяннику, потрепал воздух пухлой рукой, будто гладил невидимую собаку, и пошёл к двери. На пороге обернулся.

— Завтра тебя представят двору как леди под покровительством дома, до выяснения рода, — сказал он. — Имя и родословную мы тебе подберём — у дома Кальдор довольно друзей, готовых вспомнить дальнюю кузину. А пока отдыхай. И, дитя... — медовая пауза, — не пытайся уйти из замка. Скалы у нас высокие, дороги длинные, а стража внимательная. Было бы жаль потерять то, что выбрала реликвия.

Дверь закрылась. Мы с лордом Эйdanом снова остались вдвоём, и я поняла по его лицу, что он услышал в словах дяди то же, что я, — только он знал больше и оттого был мрачнее.

— Ваш дядя только что назвал меня «то», — сказала я. — Дважды. «То, что выбрала реликвия». «То, что имеет цену». Знаете, господин, я всю жизнь была для людей вещью, я к этому привыкла. Но обычно вещь меня называют те, кто хочет меня использовать. Так для чего я нужна вашему доброму дяде?

— Не знаю, — сказал лорд Эйdan. И впервые за весь день он не солгал и не отмолчался, а сказал прямо, и от этой прямо́ты мне стало куда страшнее, чем от всех его угроз: — Но я очень не хочу, чтобы ты это выяснила на собственной шкуре. Держись от него подальше, мастерица. Из всех капканов этого замка он — самый глубокий. А капканов здесь больше, чем камней.

Он ушёл, и я осталась одна — теперь уже по-настоящему одна, с розовым маслом, чужим именем, которое мне ещё подберут, и двумя драконами на горизонте, из которых один хотел меня спрятать, а другой — сберечь, и я не знала, который страшнее.

Стемнело. Слуга принёс ужин — настоящий, с мясом, какого я не ела месяцами, — и это тоже была своего рода правда: меня и впрямь собирались беречь, откармливать, как берегут не пленницу, а ценность. От этой заботы кусок не лез в горло.

Поздно вечером пришла швея — снять мерки для платьев, в которых леди-без-рода завтра выйдет к двору. Маленькая, остроносая, с исколотыми пальцами и быстрыми глазами, она звалась Нита и работала молча, пока не убедилась, что в коридоре никого. А убедившись, заговорила шёпотом, не переставая втыкать булавки.

— Это правда, что Искрень загорелся на тебя? — спросила она. — Весь замок гудит. Говорят, ты явилась невесть откуда.

— Правда, — сказала я. — Сама не рада.

— И не радуйся. — Нита воткнула булавку резче, чем нужно. — Я тут третий отбор обшиваю, девочка. И каждый раз одно и то же. Сначала съезжаются красавицы, и все при надежде. А потом... — Она оглянулась на дверь. — А потом одни уезжают домой с приданым и кислой миной, это понятно, это всегда так. А другие не уезжают.

— Как это — не уезжают?

— А вот так. — Её исколотые пальцы замерли на моём рукаве. — Я их обшиваю, привыкаю к ним, мерки помню лучше, чем лица. А потом в одно утро мерки есть, а девушки нет. Ни домой не отбыла, ни замуж не вышла. Спросишь — тебе скажут: отослали ночью, не сошлись родами, дело тихое. А я тебе так скажу, — она наклонилась к самому моему уху, и булавки в её губах блеснули, как зубы, — те, что исчезают, девочка, все на один лад. Тихие. Бедные. Из дальних краёв, где спросить некому. И почти все — рыжие или огневолосые, будто их по масти выбирают. Вот как ты.

Я сидела очень прямо, чтобы не выдать, как у меня под рёбрами шевельнулся мой огонь — недобро, тревожно, как зверь, учуявший дым.

— И что же с ними, по-твоему, делается? — спросила я ровно.

— Не знаю. — Нита выпрямилась, собрала булавки, и лицо её снова стало пустым и служивым, лицо человека, который сказал лишнее и теперь жалеет. — Не моё это дело — знать. И не твоё, если хочешь дожить до венца. Я тебе вот зачем это говорю, глупая: на тебя загорелся Искрень, ты теперь на виду, тебя так просто не спрячут. Может, оно тебя и спасёт. А может... — Она пожала плечами и пошла к двери. На пороге обернулась, совсем как давеча Венсан, только в её глазах вместо мёда была усталая жалость. — Береги себя, леди-без-рода. И если однажды ночью за тобой придут сказать, что тебя «отсылают домой», — не верь. Кричи.

Дверь закрылась. Я осталась с булавками на манекене и холодом под рёбрами.

Огонь во мне не врёт — он чует дым раньше, чем глаз увидит пламя. И сейчас он чуял дым. Где-то в этом тёплом червонном замке, под медовыми улыбками и старыми реликвиями, что-то жгли тихо и давно. Девушек. Бедных, рыжих, из дальних краёв, где спросить некому.

Таких, как я. И вот это — «беречь как зеницу ока» — напугало меня сильнее всего, что сказал за этот день племянник. Потому что огненный лорд хотел меня спрятать. А вот его улыбчивый дядя, я готова была поклясться своим дешёвым кобальтом, хотел меня сохранить — для чего-то.

И уголь Первого пламени, который чует ложь, был сейчас далеко отсюда, в Зеркальном зале, и не мог сказать мне, кто из этих двоих врёт.

Глава 3. Двенадцать невест

Знатной дамой я стала за одну ночь — и поняла, что быть знатной дамой куда страшнее, чем быть золой.

Зола никому не интересна. На золу не смотрят. А леди Ярину из Горловья, дальнюю кузину дома по матери, ту самую, на кого загорелся Искрень, рассматривал теперь весь двор — пристально, со всех сторон, как рассматривают подделку, которую очень хотят разоблачить. И каждый взгляд был ловушкой, в которую я могла провалиться одним неверным словом, одним неправильным наклоном головы, одной вилкой не из того ряда.

К счастью, я всю жизнь обшивала и обслуживала таких дам. Я знала их повадки лучше, чем они сами, — так горничная знает госпожу лучше мужа. Я знала, как держат спину, как держат вилку, как держат лицо, когда внутри пусто или страшно. Шестнадцать лет я подавала им эмаль и подбирала с пола их шлейфы — и всё это время, оказывается, училась. Вот уж не думала, что школа золы выпускает в дамки.

Утром меня одели в платье цвета остывших углей, с теми самыми золочёными искрами по корсажу, какие я сама вшивала для леди Брисанны, — только теперь их вшивали в меня. Странное чувство. Будто надеваешь собственную работу как кожу.

— Не вздумай блистать, — сказала мне поутру камеристка, приставленная Венсаном, сухая женщина по имени Доркас с глазами надсмотрщицы. — Тебя выбрала реликвия, а не род. Будешь блистать — наживёшь врагов. Стой тихо, говори мало, гляди скромно.

Совет был хорош, и я ему почти последовала. Почти — потому что в Зеркальном зале, куда нас вывели всех вместе, двенадцать невест и я тринадцатая, лишняя, меня поджидала леди Брисанна Воль.

Я заняла её место. Это нужно понять, чтобы понять её ненависть. Она везла меня сюда как свою тень, как свой инструмент, как часть своего блеска, — а я этим самым блеском у неё на глазах перебила ей дорогу. Её рыбы глаза, когда они нашли меня в строю невест, стали почти живыми от ярости.

— Леди Ярина, — сказала она громко, чтобы слышали все. — Какое чудо. Ещё вчера вы чинили мои воротники, а сегодня — невеста дома. Расскажите же двору, как вам это удалось. С каких пор реликвии загораются на прислугу?

Зал притих, наострил уши. Это была проверка — публичная, злая, насмерть. Один неверный ответ, и поползёт: подмена, обман, самозванка. А самозванку под Искренем не промилуют.

И я сделала то единственное, что умею делать хорошо, когда загнана в угол: не стала оправдываться. Зола не оправдывается. Зола дерзит.

— С тех самых, леди Воль, — сказала я ясно и спокойно, — с каких загораются. Реликвии, в отличие от людей, не разбирают, кто в каком платье. Им всё равно, чьи воротники я вчера чинила. Полагаю, потому их и держат при дворе вместо придворных — на реликвию хоть положиться можно.

Кто-то на хорах фыркнул в кулак. Брисанна пошла пятнами.

— Вы дерзки для прислуги, — прошипела она.

— Я дерзка для невесты, — поправила я. — Прислугой я была вчера. Сегодня извольте дерзить мне как равной, у вас же благородное воспитание, вы справитесь.

Это было опасно. Это было глупо. Но это сработало — не потому, что я переспорила её, а потому, что двор любит зрелище, и я дала двору зрелище. Самозванка дрожала бы и оправдывалась. А та, что огрызается, как равная, — поди разбери, может, и впрямь кузина, у захудалых ветвей рода всегда дурной нрав. Я увидела, как несколько придворных переглянулись с

тем особым удовольствием, с каким смотрят петушиный бой, и поняла, что выиграла первый круг. Не дружбу. Время.

Время и, как ни странно, одну союзницу.

Её звали леди Соремонда — длинно, по-южному пышно, но все за глаза звали её просто Сор, и она первая не побрезговала сесть рядом со мной за общим столом невест, куда остальные косились на меня, как на мокрицу в салате. Сор была некрасива той уютной, добротной некрасивостью, какая бывает у хлеба: круглая, румяная, с ямочками и быстрым смешливым ртом. Её привезли пятой дочерью обедневшего, но древнего рода — «приданого с напёрсток, зато родословная с локоть», как она сама же и сказала, без капли горечи.

— Не бери в голову Брисанну, — шепнула она мне, подвигая блюдо с засахаренными померанцами. — Она кусает всех, кто ярче. А ты теперь ярче всех — на тебя же загорелась реликвия, дорогуша, это как прийти на бал в короне. Тут половина девиц год потратила на наряды и интриги, а ты явилась чинить чужой воротник — и бац, избранница. Я бы тоже тебя ненавидела, не будь я такой ленивой для ненависти.

— А ты почему не ненавидишь? — спросила я прямо, потому что доброта без причины пугает меня сильнее ненависти с причиной.

— Потому что мне он не нужен, — сказала Сор и кивнула в дальний угол, где стоял лорд Эйдан, прямой и холодный. — Дракон-то. Красивый, спору нет, но от него же стужей тянет, как из погреба. Я за тёплого замуж хочу, за толстенького весёлого барона, чтоб смеялся и ел много. А сюда меня матушка послала — мол, авось приглядит кто из съехавшихся лордов. Я не за драконом охочусь, я при драконе охочусь. Чувствуешь разницу?

Я чувствовала. И впервые за этот день у меня немного отлегло — рядом с Сор дышалось легче, как дышится у тёплой печи после мороза. Я не верила ей до конца — я вообще мало кому верю, такая школа, — но я решила, что из всех опасностей этого зала Сор наименьшая, а в моём положении и это богатство.

А потом я почувствовала на себе ещё один взгляд — не как все, не оценивающий, а тяжёлый, тёмный, и подняла глаза, и встретила с ним.

Лорд Эйдан стоял у дальней стены, чуть в стороне от своего блистательного дяди, и смотрел на мою перепалку с Брисанной с тем же выражением, с каким, должно быть, смотрел на огонь, который вот-вот выйдет из-под контроля. Не одобрение. Не гнев. Что-то среднее, настоящее. «Не привлекай внимания», — говорили его глаза. «Поздно», — ответили мои.

Правила отбора нам объявил Венсан — и объяснял их так сладко, что не сразу замечалась удавка под мёдом.

Отбор шёл до летнего солнцестояния — до самого долгого дня в году, который у северян, я слышала, самый короткий, а у нас, на огненном юге, самый длинный и самый жаркий. Зеркало, опять зеркало, везде в этом мире лёд глядится в огонь. На солнцестояние жениха и оставшихся невест выведут к Искреню в последний раз, и тогда уголь Первого пламени укажет истинную, и брак скрепит присягу дома короне на новый срок. До тех пор — испытания. Каждые несколько дней одно. Танцы, беседа, рукоделие, знание дома, умение держать себя при огне дракона. После каждого испытания кого-то «отпускают».

«Отпускают». Я слушала это слово и слышала за ним то, что шептала ночью Нита: одни уезжают с приданым, другие — не уезжают вовсе.

— А куда отпускают тех, кого отпускают? — спросила я. Вслух. При всех. Доркас рядом шумно вдохнула, Брисанна злорадно прищурилась, ожидая, что меня одёрнут за наглость.

Но Венсан только улыбнулся шире.

— Какой трогательный вопрос, дитя. Видно доброе сердце. — Он развёл руками. — Домой, разумеется. С дарами и с честью. Дом Кальдор никого не обижает. Невеста, не ставшая невестой, всё равно остаётся гостьей дома, а гостей мы провожаем с любовью.

Уголь Первого пламени стоял в десяти шагах от него, мёртвый и серый. Если бы он горел, я бы знала, солгал Венсан или нет. Но он не горел. Реликвию, как правило, выносили на смотрины да на солнцестояние, а в обычные дни она спала под замком — разве что регент прикажет иначе. Очень удобно для тех, кому есть что скрывать. Я смотрела на серый уголь и думала: вот в чём твоя слабость, старое пламя. Ты чуешь ложь, только когда не спишь. А спишь ты почти всегда.

Первое испытание было — танец.

Но до танца был ещё долгий, выматывающий день представлений, поклонов, имён, которых я не знала, и родословных, в которых я плавала, как камень в кипятке. Я запоминала лица — это я умею, мастер запоминает оттенки лучше слов. Запомнила бледного церемониймейстера с вечно потными руками. Запомнила двух дам Венсановой свиты, которые ходили за ним тенью и всё время что-то записывали в книжечки в кожаных переплётах — кто с кем говорил, кто как смотрел. Запомнила, что лорд Эйдан за весь день не съел ни куска и не сказал ни слова сверх необходимого, и что слуги ставили перед ним блюда и убирали нетронутыми, привычно, будто так и надо. Дракон, который не ест на людях. Дракон, который не вспыхивает. Дракон, который держит себя так туго, что, кажется, тронь — и зазвенит, как перетянутая струна.

Я смотрела на него весь день краем глаза и думала об одной простой вещи, от которой мне делалось не по себе: ему ведь тоже несладко. Я-то прячу огонь, чтоб выжить, а он прячет, чтоб не подтвердить чужой страх. Полвека назад огненный дракон сжёг провинцию — и теперь каждый огненный дракон расплачивается тем, что всю жизнь доказывает: я не такой, я ручной, я погашен. Это своя Обитель Пепла, только с золотой решёткой. Я не собиралась его жалеть. Жалость к тому, кто держит твою жизнь в кулаке, — глупость. Но понимать врага — не жалость. Понимать врага — это ремесло, и в нём я тоже мастер.

Я не умею танцевать. То есть я умею двигаться у горна, где каждый шаг выверен, чтобы не плеснуть расплавом, — это, если хотите, тоже танец, только с огнём вместо кавалера, и партнёр там не прощает ошибок. Но придворные фигуры, все эти поклоны, повороты и плавные руки, — это другой язык, которому я не училась. И вот тут-то меня едва не сожгли заживо, без всякой Обители Пепла.

Невесты танцевали с придворными кавалерами, а потом, по обычаю, один танец каждая — с женихом. Я надеялась проскочить, затеряться, остаться в углу. Не вышло. Венсан сам, лучась, подвёл меня к племяннику.

— Грех не дать избраннице реликвии круг с господином, — сказал он. — Двор ждёт, племянник. Двор любопытен.

Двор и впрямь смотрел в оба. И лорд Эйдан, у которого на лице было написано, что он предпочёл бы голыми руками тушить лесной пожар, подал мне руку.

Его рука снова была тёплой. Я уже знала, что она будет тёплой, и всё равно от этого тепла у меня что-то сбилось в груди, как сбивается дыхание у горна, когда меняется тяга.

— Я не умею, — сказала я тихо, когда заиграла музыка и мы поплыли — то есть поплыл он, а я заковыляла следом, отсчитывая шаги, как считаю всё на свете.

— Знаю, — сказал он так же тихо, не разжимая губ, ведя меня так, что мои ошибки превращались в его движения. — Это видно с другого конца зала. Смотри мне в глаза, а не под ноги. Веди тебя буду я. Тебе нужно только не сопротивляться.

— Не сопротивляться — это не про меня.

— Я заметил. — И тут — я готова поклясться — в уголке его рта опять дрогнуло то самое, не-улыбка, живое. — Считаешь шаги?

— Считаю.

— Перестань считать. Слушай музыку. Огонь не считают, мастерица. Огонь чувствуют.

И странное дело — я перестала. Я подняла глаза от его сапог к его лицу, к этим тёмно-янтарным глазам, в которых холод был сверху, а на дне тлело, и перестала считать, и вдруг ноги

пошли сами, потому что его рука на моей талии и его ладонь в моей ладони вели меня вернее всякого счёта. Мы двигались, и между нашими ладонями копилось тепло — два спрятанных огня, узнающих друг друга через перчатки приличий, и я знала, что он это чувствует, потому что у него на скуле проступила краска, чего я никак не ждала от человека-льда.

— У вас щёки горят, господин, — шепнула я, потому что не дерзить я не умею даже в раю. — Берегитесь. Скажут, дракон расчувствовался.

— Молчи, — сказал он, но не зло. — И, мастерица... — он наклонился чуть ближе, под видом фигуры танца, и голос упал до самого тихого, — что бы ни случилось на этом отборе, держись рядом со мной на людях и подальше от меня наедине. Понятно?

— Не очень, — честно сказала я.

— Рядом со мной ты под защитой реликвии, и тебя не тронут. — Поворот, поклон, его рука ни на миг не выпустила мою. — А наедине... наедине я за себя не отвечаю. Ни как страж закона. Ни как дракон. Ни как мужчина, которого его собственная реликвия второй день толкает к тебе через весь зал.

Музыка кончилась. Он отступил, поклонился — безупречно, холодно, для двора, — и отпустил мою руку, и мне сразу стало зябко там, где была его ладонь. А двор аплодировал, и Венсан лучился, и Брисанна жгла меня глазами, и я стояла посреди Зеркального зала в платье цвета остывших углей и чувствовала, что земля подо мной такая же ненадёжная, как этот чёрный зеркальный пол, в котором отражается перевернутый мир.

Когда я вернулась к скамьям невест, Сор встретила меня круглыми от восторга глазами.

— Дорогуша, — выдохнула она, обмахиваясь веером, как после собственного танца. — Ты хоть понимаешь, что сейчас было? Он вёл тебя так, будто боялся уронить. Этот человек за три недели отбора ни на одну не взглянул дважды, я считала. А тебя он с паркета глазами не отпускал.

— Он боялся, что я отдавлю ему ноги и опозорю реликвию, — сказала я. — Это не нежность, Сор, это страх за обувь.

— Угу, — сказала Сор, нимало не убеждённая. — За обувь. Ты эти сказки кому другому рассказывай. Я пятая дочь, я с пелёнок смотрю, как сёстры выходят замуж, я в этих взглядах разбираюсь лучше, чем повитуха в животах. — Она вдруг посерьёзнела. — Только ты вот что, Ярина. Будь поосторожнее. Не с ним — с тем, что вокруг. Когда дракон вдруг начинает смотреть на одну, у этой одной сразу заводится много недоброжелателей. И не все они так безобидны, как наша рыбка Брисанна. — Она кивнула в сторону, где за спиной Венсана две дамы со своими книжечками что-то прилежно записывали, поглядывая на меня. — Видишь? Уже пишут. Тут всё пишут, дорогуша. Каждый твой шаг ложится в чью-то книжечку. Будь я тобой, я бы очень следила, чтобы в этих книжечках про меня было поменьше интересного.

Совет был хорош. Я не послушалась и его — но не по дерзости, а потому, что в ту же ночь увидела во дворе фонарь.

Вечером я не могла уснуть и подошла к окну — к тому самому, под которым была отвесная скала. И увидела во дворе, далеко внизу, у дальней стены, фонарь.

Поздний фонарь во дворе — это всегда чья-то тайна. Я смотрела, как он движется вдоль глухой стены, к низкой двери в основании башни, которую днём я не заметила. У двери фонарь остановился. От него отделились две тени — рослые, в плащах, — и между ними шла третья, маленькая, нетвёрдая, будто её вели под руки или волокли. Огневолосая. Даже в свете одного фонаря, даже издали я разглядела рыжину — мой огонь чует свет, как чует дым, и эту рыжину он узнал.

Дверь в основании башни открылась. Из неё пахнуло — не светом, не теплом, а тем особым жаром, какой я знала всю жизнь: жаром печи, большой, рабочей, не той, что греет, а той, что плавит.

Девушку завели внутрь. Дверь закрылась. Фонарь погас.

А я стояла у окна, вцепившись в холодный переплёт, и впервые за весь этот безумный день мне было по-настоящему страшно — не за себя.

Потому что я знала этот жар. Я работала у такого всю жизнь.

Где-то под Алым двором, в основании глухой башни, день и ночь топили большую плавильную печь.

И только что в неё завели огневолосую девушку.

Я отшатнулась от окна. Сердце колотилось так, что, казалось, его слышно за дверью. Первым порывом было — бежать вниз, к той двери, выломать её, вытащить девушку, плеснуть в лицо тем, кто её туда завёл, всем своим спрятанным огнём. Шестнадцать лет осторожности звывли во мне, требуя сделать единственное, чего делать было нельзя.

Я заставила себя сесть. Заставила себя считать — на этот раз нарочно, чтобы остудить кровь. Раз: я не знаю, что там, внизу. Может, плавильня — просто плавильня, мало ли зачем дому печь. Два: девушку, может, вели не туда, а мимо, я видела лишь фонарь и тени. Три: если я сейчас брошусь вниз и попадусь, я не спасу её, я только подарю Венсану повод проверить, отчего избранница реликвии шастает ночью к запретной двери, — и тогда меня саму заведут в такую же дверь, и спасать будет некому.

Считать помогло. Кровь остыла до того жара, при котором ещё можно думать. И, остыв, я приняла решение, которое прежняя Яра, осторожная Яра, зола, никогда бы не приняла: я узнаю, что в той башне. Не из доброты — я себе не льстила. А потому что швея сказала «таких, как ты», и потому что у меня под рёбрами теперь жгло не только за себя, но и за рыжую тень, которую увели в жар. Шестнадцать лет я отворачивалась от чужой беды, чтобы уберечь себя. Хватит. Зола больше не отвернётся.

А ещё — и это я призналась себе только под утро, лёжа без сна, — был один человек в этом замке, который точно знал, что там, в башне. Страж закона о даре. Дракон, чьё ремесло — знать, где под его крышей прячут огонь. Лорд Эйдан Кальдор велел мне держаться от него подальше наедине.

Завтра я собиралась его послушаться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.